

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

# **СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА**

**ВЫПУСК 2**

## **СПОРЫ О ПРОШЛОМ КАК ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО**

**СБОРНИК  
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

**Москва  
2014**

## С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

О.Ю. Малинова

### В ОЖИДАНИИ ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО НАРРАТИВА: СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИИ

Рец. на кн.: Gill G. *Symbolism and regime change: Russia*. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2013. – viii, 246 p.

Монография профессора Сиднейского университета Грема Гилла «Символизм и смена режима: Россия» является продолжением книги «Символы и легитимность в советской политике», увидевшей свет в издательстве Кембриджского университета двумя годами ранее [Gill, 2011]. Обе публикации отражают результаты одного исследовательского проекта и имеют общую методологию. В основе данного исследования лежит теоретическая посылка, которую в полной мере разделяют авторы этого сборника: смена режима – это не только смена институтов и правил, но и замещение прежней системы символов. Чем радикальнее перемены, тем больше времени требуется на выработку представлений, поддерживающих новый порядок. Не случайно этот аспект постсоветской трансформации не сразу оказался в фокусе внимания исследователей; лишь в 2000-х годах стали появляться фундаментальные работы, посвященные осмыслению траектории эволюции и результатов символической политики в России [Smith, 2002; Мисюрлов, 2004; Urban, 2010; Малинова, 2013 и др.]

По мысли Гилла, «все режимы вырабатывают символические программы, которые стремятся зафиксировать существующие символические матрицы и артикулировать, что представляют собой и общество, и режим» (р. 2). Но распавшийся в 1991 г. СССР был необычным режимом: по степени проникновения идеологиче-

ских идей и способов мышления в разные сферы жизни он не имел равных даже среди других идеократических режимов. В этом смысле российский случай не типичный, а скорее экстраординарный: политической элите нового государства предстояло решить поистине труднейшую задачу – сформировать новое видение общества, способное заменить разложившийся еще в позднесоветский период *метанарратив*, который отличался беспрецедентной идеологической связностью и в то же время – значительной гибкостью [Gill, 2011, р. 266]. Замечу, что хотя, как справедливо утверждает Гилл, к моменту появления нового Российского государства советский метанарратив уже был разрушен, память о нем до сих пор продолжает задавать стандарты восприятия современных идеологических конструкций. С учетом этого трудно сказать, осуществима ли вообще задача «полноценного» замещения такого метанарратива. Принимая во внимание стремление нового режима обходиться без формальной идеологии и отсутствие у него тотального контроля, характерного для СССР, автор книги считает такую перспективу маловероятной (р. 7). Однако задачу разработки нового «символического нарратива», опирающегося если не на формальную идеологию, то на систему символов, способных «объяснить распад советского эксперимента и то, почему постсоветский режим является его более достойной заменой» (р. 7), он рассматривает как императивную для нового режима.

Прежде чем перейти к обсуждению наблюдений и выводов, представленных в книге Г. Гилла, нужно пояснить методологию его исследования, описываемую в первой, вводной главе. Автор рассматривает символы как средства понимания мира: они упрощают сложную реальность, представляя ее в форме понятий, идей и визуальных образов, и служат средством для выражения более сложных представлений и концепций. Основными инструментами анализа «символизма политики» выступают понятия идеологии, метанарратива и мифа; заданные ими связи определяют логику авторской модели теоретического описания советского и по контрасту – постсоветского опыта.

*Идеология* интерпретируется как «фундаментальное философское основание режима, его формальный интеллектуальный базис и ядро его легитимации» (р. 3). В силу своей сложности идеология не слишком приспособлена для задач повседневной коммуникации правящих и управляемых.

Эту роль выполняет то, что Гилл называет *метанарративом*, – «совокупность дискурсов, в упрощенной форме представ-

ляющих идеологию и выступающих в качестве инструмента посредничества между режимом и народом» (р. 3). Метанарратив – это средство трансформации идеологических принципов в практику повседневной реальности граждан; это символическая конструкция общества и объяснение его прошлого (почему оно стало тем, чем является) и будущего (куда оно стремится). Именно смыслы, содержащиеся в дискурсах метанарратива, придают содержание ритуалам режима. Метанарратив уже идеологии, но больше связан с жизнью людей.

Поскольку метанарратив сфокусирован на темпоральных связях между прошлым, настоящим и будущим, он конституирован *мифами*. Под этим термином понимается «социально сконструированная история об обществе и его происхождении, которая обеспечивает членов сообщества смыслами, позволяющими объяснять важные аспекты жизни этого сообщества и его развитие» (р. 4). Миф социально сконструирован и является средством определения и объяснения социальной реальности для тех, кто в него верит. Другими словами, важно не то, каковы эмпирические основания мифа, а то, что он принят членами сообщества. Гилл выделяет шесть мифов, служивших основными элементами советского метанарратива; они связаны с Октябрьской революцией, строительством социализма, природой лидерства, внутренней и внешней оппозицией курсу партии и победой в Великой Отечественной войне [Gill, 2011, р. 4–5]. Следует отметить, что понятие мифа играет заметно большую роль в книге, посвященной советской политике; в исследовании изменений постсоветского режима Гилл почти не пользуется этим инструментом. Описывая структуру «видения новой России», артикулируемого ее президентами, он говорит не о «мифах», но о «темах». Соотношение этих терминов не поясняется; можно, однако, предположить, что «темы» не стали «мифами», поскольку в силу разных причин общество не приняло предложенные ему истории прошлого – настоящего – будущего.

В качестве отправной точки своего анализа Гилл берет период перестройки, когда завершилось начавшееся еще в 1960-х годах разложение советского метанарратива. Облекая аргументы в пользу перемен в «традиционный символизм режима», Горбачёв лишь усилил его внутренние противоречия. По мнению Гилла, наиболее явным кандидатом на смену распадавшемуся советскому метанарративу мог стать набор символов, которые в противостоянии Горбачёву развивал Б.Н. Ельцин, – независимость России, свобода, демократия

и экономическое благополучие. Этот набор оказался убедительным для российских элит, и это, по мнению Гилла, решило судьбу Союза.

Независимой России предстояло уладить множество проблем; одной из наиболее сложных была необходимость решать вопрос о природе российского политического сообщества в отсутствие «готового» целостного нарратива. Требовалось найти интеллектуальное обоснование рождению нового государства. Речь шла не просто о легитимации новой политической системы, но о выработке новой конструкции постсоветского российского сообщества. По словам Гилла, «требовалась новая форма символического дискурса, способного заменить советский. Был нужен дискурс, воплощающий видение российского общества и его будущего, пусть не такой всеохватывающий, как советский, но способный завоевать гегемонию в публичной сфере» (р. 26–27). Автор подчеркивает, что подобная ситуация отнюдь не уникальна, – в качестве примера он приводит дискуссии, имевшие место в США сразу после обретения независимости. Он полагает, что в конструировании такого рода нарративов центральную роль играет политическая элита.

Анализ собственно постсоветских символических практик начинается третья глава, посвященная «видению лидеров». По словам Гилла, «если бы новому постсоветскому нарративу было суждено родиться на обломках советского метанарратива, ведущую роль в этом должны были бы сыграть известные политические фигуры. Их сильнее всего касалась проблема легитимности, и именно они были ответственны за выработку ориентиров для будущего» (р. 28). Материалом для анализа послужили ежегодные послания Федеральному собранию, которые Гилл считает «прекрасной возможностью для артикуляции видения будущего» (р. 35), а также некоторые другие речи президентов Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева. С его выводом трудно не согласиться: постсоветские лидеры не проектировали нарратив, способный заменить советский метанарратив, – дискурсу, исходившему из президентского офиса, недоставало единства. Этот дискурс «не составлял целостный нарратив, связывающий советское прошлое и российское настоящее и будущее в последовательную и убедительную историю» (р. 78).

По мнению автора, ответственность за этот результат несут все три лидера. Однако наибольшее значение имела неудача Ельцина, который упустил возможность сконструировать новый нарратив на обломках советского. Как показывает Гилл – и к тому же

выводу приходят и другие исследователи символической политики 1990-х [Smith, 2002; Urban, 2010; Малинова 2012 и др.], – Ельцин стремился легитимировать свой политический курс, апеллируя к необходимости преодоления «тоталитарного» советского прошлого. По мысли Гилла, проблема при этом заключалась в том, что общество знало, каким было это прошлое, но плохо представляло себе будущее. Это давало Ельцину «прекрасную возможность артикулировать целостное представление о свободной России, укоренив его в убедительном нарративе; однако он оказался не в состоянии это сделать и вместо этого больше опирался на воскрешение образов прошлого» (р. 35). Критикуя советскую систему, первый президент России отрицал мифы и символы, составлявшие прежний метанарратив. В силу этого он оказался лишен возможности «интегрировать советское прошлое в нарратив, предлагающий убедительное объяснение недавней истории и современной ситуации» (р. 47). На мой взгляд, аналитический инструмент Гилла позволяет точно объяснить, почему избранная Ельциным стратегия легитимации собственного курса по контрасту с прошлым оказалась неэффективной: отвергнув элементы старого советского метанарратива (за исключением одного – победы в Великой Отечественной войне), он лишился «строительного материала» для конструирования нового. Хотя трансформация (частичное изменение содержания) уже существующих мифов – задача непростая, перспектива их замены полноценной системой новых мифов в краткосрочной перспективе и вовсе неосуществима, даже при наличии у государства полного контроля за политическими коммуникациями (которого уже не было). Разумеется, это не единственная проблема символической политики 1990-х – неразрешимой оказалась и задача конструирования мифов, проектирующих будущее, точнее – подкрепления артикулируемых политической элитой образов повседневным опытом современников и реакцией Значимых Других.

С этой точки зрения вполне объясним и ограниченный успех символической политики Путина: отчасти вернув «символизм советского периода, он не создал связного нарратива, объединяющего досоветское, советское и постсоветское прошлое в одну историю» (р. 62); при этом он настаивал на неприемлемости для России западных моделей (которые в начале 1990-х отчасти помогали решать проблему проектирования будущего).

Согласно выводу Гилла, ни один из российских президентов не преуспел в выработке картины будущего России (р. 77). Хотя

Путин и Медведев избегали ельцинского эпитета «нормальное», именно он, по мнению автора, наиболее точно отражал их видение российского общества: общество без драматических волнений, работающее на основе установившихся норм и процедур. Однако даже у людей, переживших экономическое неустройство позднесоветского периода и 1990-х годов, это едва ли могло вызвать энтузиазм. Кроме того, президентский дискурс не отличался постоянством: хотя элементами картины оставались сильное государство, демократия и рыночная экономика, для Ельцина, Путина и Медведева эти слова означали разные вещи.

Пожалуй, наиболее интересная часть исследования Гилла представлена в четвертой главе, рассматривающей «символизм политической арены». По мысли автора, в складывании системы символов, подкрепляющих новый порядок, большую роль играют не только идеи, артикулируемые заметными политическими фигурами, но и институциональные сигналы, посылаемые политической системой: последняя «порождает собственную институциональную культуру и набор символов и образов... Символизм такого рода играет решающую роль для понимания природы политической системы» (р. 79–80). Гилл справедливо отмечает, что в случае советского режима символическая репрезентация политической системы противоречила официальной риторике: несмотря на все заявления о демократии и народовласти, она больше напоминала «усталый авторитаризм» (р. 80). Следовательно, если бы 1991 год действительно знаменовал решительный разрыв с прошлым, он должен был воплотиться в более открытой и партисипаторной политической системе. Однако этого не произошло. Гилл показывает это, анализируя символизм институтов президентства, Конституции, выборов, парламентаризма и партий, а также гражданского общества.

Институт президентства, созданный в 1991 г., в результате политических битв начала 1990-х обрел независимость от законодательной власти и стал «иерархическим центром» системы. Однако идея самостоятельной легитимности президента, избираемого народом, оказалась выхолощена: президентство превратилось в дар инкумбента наследнику. Вместе с тем выстраивавшаяся система символических репрезентаций настойчиво подчеркивала, с одной стороны, психологическое единство лидера и народа, способность лидера «понимать чаяния» людей и обращаться к ним напрямую, а с другой – разделяющую их дистанцию. Гилл показывает это, анализируя эволюцию имиджей трех глав российского

государства. Прочность символизма этого института подтверждается тем, что и при «слабом» Медведеве в рамках сложившейся институциональной культуры президент оставался ключевым звеном политической системы. Вместе с тем сохранение сильного влияния Путина в период «тандема» лишь подкрепляло представление о том, что страну направляют не институциональные правила, а воля сильного лидера.

Весьма противоречивым оказался символизм такого элемента, как правила игры, воплощенные в Конституции: по некоторым важным вопросам авторитет Основного закона неукоснительно признавался политическими акторами, однако в повседневном функционировании политической системы предписания Конституции не играли большой роли, поскольку *modus operandi* определялся практиками, не соответствующими ее духу. В результате символизм Основного закона «не способствовал возникновению нарратива, подчеркивающего образ общества, основанного на институциональных правилах» (р. 109).

Не менее противоречивыми оказались символические эффекты основных каналов народного влияния – выборов, партий и законодательной власти. В постсоветский период упрочилась символическая связь выборов и демократии, присутствовавшая и в советском метанарративе. Правда, в 2000-е годы произошло смещение акцентов: если в 1990-х годах народное голосование представлялось как выбор пути развития, то теперь оно трансформировалось в поддержку лидера и того, что он символизирует. Образ выборов как центрального элемента демократии подрывали и фальсификации, масштаб которых последовательно нарастал. Противоречивый символизм этого элемента институциональной культуры политической системы усугублялся очевидным разрывом между демократической риторикой и реальными практиками функционирования законодательной власти и партий. «Вместо того, чтобы составлять нарратив развития стабильных демократических институтов, функционирование соответствующих частей политической системы упрочивало образ персонализированной политики, сосредоточенной на президенте» (р. 122). К тому же вывод автора приводит анализ институциональной культуры гражданского общества (последнее интерпретируется как совокупность автономных групп, способных отстаивать свои интересы в публичной сфере).

Гилл приходит к выводу, что символический образ политической системы постсоветской России отличается преэметственностью;



однако векторы его развития отнюдь не соответствуют идеалу открытой и партисипаторной политической системы, заявленному в начале 1990-х годов. Центральным символом политической системы и ее центральным институтом является президент, который существенно дистанцирован от простых людей. С передачей власти от Ельцина Путину, от Путина Медведеву и обратно нарастает впечатление перехода от беспорядочности к стабильности и системности, укрепляется «образ нарастающей регулярности». Однако «отсутствие соответствия между символизмом демократии и символизмом, проистекающим из *modus operandi* системы, порождает символическую непоследовательность (*incoherence*)» (р. 127).

На мой взгляд, анализ символизма политической системы – наиболее интересная и оригинальная часть исследования Гилла. В двух заключительных главах, посвященных конструированию постсоветской идентичности и реконструкции Москвы, равно как и в третьей главе, построенной преимущественно на анализе ежегодных президентских посланий, он рассматривает материал, многократно изученный как зарубежными, так и российскими учеными. К сожалению, работы последних практически не нашли отражения в книге Гилла. Подобно большинству зарубежных авторов, пишущих о России и владеющих русским языком, он плохо представляет себе результаты исследований российских коллег. Это особенно бросается в глаза в главе об идентичности – теме, весьма активно дискутируемой в отечественной литературе. И хотя выводы Гилла, полагающего, что состояние общественных дискуссий о русскости / российскости и об отношении к советскому прошлому свидетельствуют об отсутствии «целостного нарратива», вряд ли вызовут возражения у его российских коллег, представляется, что знакомство с их работами позволило бы составить более полное представление о конфигурации пространства публичных дискуссий, которую трудно реконструировать на расстоянии по заведомо неполному кругу доступных источников.

В конечном счете Гилл приходит к выводу, что «на протяжении двух десятилетий существования независимой России ее президенты оказались неспособны артикулировать целостный нарратив, воплощающий видение ее будущего и того, каким образом оно должно быть создано» (р. 212). Он утверждает, что это относится ко всем акторам национального уровня, – однако нужно признать, что его анализ был сосредоточен преимущественно на риторике и деятельности первых лиц (возможно, соответствующие оговорки имело смысл сделать в самом начале книги). В том же,

что касается других акторов – политиков, публичных интеллектуалов, журналистов, писателей и пр., отстаивающих разные модели русской / российской идентичности, – проблема заключается не в отсутствии связанных нарративов (которые Гилл, в общем-то, и не анализирует), а в том, что в сложившейся политико-идеологической системе ни одна из конкурирующих интерпретаций национального прошлого – настоящего – будущего не может обрести гегемонию. Причины этого отчасти связаны с тем, что соперничество этих нарративов происходит по принципу игры с нулевой суммой, а отчасти обусловлены отсутствием у большинства игроков данного поля достаточных ресурсов. Тем большее значение приобретает символическая политикой тех, кто имеет право говорить от имени государства, – ее-то преимущественно и исследовал Грем Гилл.

В заключение он задается вопросом: почему постсоветским лидерам не удалось развить артикулируемые ими представления в полноценный национальный нарратив? Гилл вынужден признать, что у Ельцина это не получилось потому, что в политической системе 1990-х любое содержание такого нарратива было обречено стать предметом политического оспаривания, и шансов на примирение позиций не было. С приходом к власти Путина эта проблема исчезла – отчасти благодаря ослаблению позиций коммунистов, отчасти благодаря смягчению отношения к советскому наследию. Однако, по мнению Гилла, и в 2000-х годах, и сейчас формирование постсоветского нарратива упирается в проблему интеграции в него советского прошлого – оно слишком значимо и слишком разнородно, чтобы можно было «разделаться» с ним, оценивая его целиком негативно или выбирая из него исключительно те моменты, которые удобны для сегодняшних политических целей. Трудно не согласиться с тем, что «объективная история советского периода, со всеми изъянами и недостатками, могла бы в конечном счете усилить российскую политику», равно как и с тем, что движение в этом направлении не встречает «волны народной поддержки» (р. 229).

И хотя выводы Грэма Гилла звучат весьма пессимистично, хочется думать, что проделанная им работа не была напрасной. Он не только убедительно продемонстрировал значение «символизма» для трансформации политического режима, но и точно определил «узкие места» постсоветской символической политики. И то и другое полезно знать как политологам, так и политикам.

## Литература

- Малинова О.Ю. Политическое использование прошлого как инструмент символической политики: эволюция дискурса властвующей элиты в постсоветской России // Политэкс. – СПб., 2012. – Т. 8, № 4. – С. 179–204.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: Исследование символической политики в современной России: Монография / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отдел полит. науки. – М., 2013. – 421 с.
- Мисюров Д.А. Политика и символы в России. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 144 с.
- Gill G. Symbols and legitimacy in Soviet politics. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2011. – VI, 356 p.
- Smith K.E. Mythmaking in the new Russia: Politics and memory during the Yeltsin era. – Ithaca etc.: Cornell univ. press, 2002. – XI, 223 p.
- Urban M. Cultures of power in post-Communist Russia: An analysis of elite political discourse. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – XI, 216 p.